

К северо-востоку от Столицы

— *Я глубоко почитаю вас и не могу презирать...*

Вы меня — сколько угодно, а я презирать вас — нет, не могу.

— *...ибо все вы пройдете Путь сострадания и станете буддами.*

Или уже стали. А я — что сделал? Нарушил Государево уложение о монахах, буду оправдываться.

Путь сострадания ведет, конечно, в горку. Правда, рук не связали, милосердные стражники. И то хорошо.

— *...глубоко почитаю вас, не могу презирать...*

— А под ноги смотреть можешь?

— И помолчать, хоть чуточку?

— Не могу. *Ибо все вы пройдете...*

Эти-то точно пройдут. Ребята крепкие, не простые служки — послушники. Левый с виду настоящий бычище, а глаза круглые, телячьи. У правого ухмылка лошадиная. Сказано: явятся двое демонов, Годзу и Мамэн, один полубык, другой полуконь, и потащат негодяя... Им-то в горку, а мне — вниз, в подземную темницу, хотя дорога одна и та же.

Другие нарушают, им ничего, а я попался: меньше надо болтать.

«Было чудо в земле Оми, в уезде Тама, в восьмой год Небесного Спокойствия. Схватили на базаре самоставного монашка по имени Фукё, привели на святую гору Эй, на суд к Энкау, старшему над общинниками. Тот славен был чудесами великими и усердием в трудах Закона. Поставили перед ним самочинца, а Фукё говорит...» И что тут скажешь?

— Добрые друзья! Может, вы пока разъясните, чем я по-вашему виноват?

— Грамоты о посвящении нету? Нету. Потерял? Хорошо: скажи тогда, в каком храме посвящался, кто был наставник. А ты запираешься.

Рассудительный ты парень, Годзу-Полубык.

— Мать-Утроба Небесная Пустота — моя наставница. Премудрый Фугэн меня испытывал в книжной науке, а Неколебимый Фудо — в обрядах. Свидетели — все будды и боги, храм же мой — здешние горы.

— Отшельник? Сидел бы себе в горах. А ты на рынке — что делал? Попрошайничал! А без грамоты — нельзя.

— Я Сутру читал. Чашка рядом стояла — так куда ж я ее дену?

Полуконь Мамэн подталкивает в спину:

— Мертвецов ты, Фукё, вызываешь. Донос поступил.

«Ежели кто из монахов или монахинь станет гадать о людской судьбе, раздавать обереги, заклинять духов или лечить людей, то таких подвергать расстрижению. Если исцеление велось путем чтения святой книги и болезнь отступила, тогда эту статью не применять.» Спрашивается: а когда заклинение удалось, и дух не остался недоволен? На такой случай оговорки не дано.

Кто тут в уезде Тама доносчик? Мертвый или живой? И зачем? Потрудиться ведь надо, бумагу добыть, жалобу накропать, или грамотного найти, заплатить ему, или приема у настоятеля дожидаться, чтобы изустно изложить дело... Это если живой, да и духу не проще: тело найти, нестойкое к чудесам, вселиться в него, и опять же — либо с письмом возиться, либо прорываться на святую гору, через все оградительные заклятия. Сколько мороки, и спрашивается: ради чего?

Никаких я духов не вызываю, не обучен подобному обряду. Врать не буду: говорю с ними иногда. Но только с теми, кто сам является. Мертвый — ведь если ему хорошо, он живых почем зря не тревожит. И даже если плохо, если он в самом страшном подземелье томится, но на своем месте, получает законное воздаяние — мы его не услышим. А кто умер, но места еще не обрел, тем совсем худо, вот они и мечутся. Жалко их. Но вовсе не всегда их нельзя успокоить. Или хотя бы выслушать.

Живых тоже жалко, когда к ним мертвый дух повадится. Ладно бы еще, если посторонний — а если тот, кого они при жизни знали? Вот вам пример: двоюродный дед Государя нашего... Ох, нет. Заклинатель, да еще и крамольник, совсем нехорошо.

Не могу презирать — ни вас, ни занятий ваших, даже доносов. Вот возьму и сам донесу. Знает ли настоятель Энкай, старший над общиной, о несчастье в семействе Ая? Дом у них сразу за заезжим двором, сами они шорники: сбрую чинить должны казенным гонцам и прочим проезжающим, на продажу тоже немного шьют. Зовутся «Ая», «китайцами», но прозвище у них по ремеслу, а не по предкам.

Три дня назад встаю я на рынке, завожу свою погудку: «Славься, Сутра, Цветок Закона!». Подходит измотанный малый ненамного меня постарше. Идет, на ногах еле держится. И не здороваётся ни с кем, и его не окликают, будто чужой, хотя оказалось, что местный.

Спрашивает, противно ли мне как подвижнику сострадания шорное ремесло.

С кожей приходится работать, да и выделяют они орудия угнетения скотины... Отвечаю: да что же? Сбрую сладить и подогнать, как следует, — дело милосердное и к волам, и к коням, и к возчикам с ездоками. Малый: тогда пойдем со мною, а то у нас в доме скверно, работа скоро развалится вовсе.

Иду, а люди с базара переглядываются.

Семья у этого Ая не так велика. Мать-старуха, сам он, двое младших братьев и двое ребятишек. Тебе, говорит он, люди наплели уже гадостей про то, как умерла моя жена? — Нет. Шорник начинает рассказывать. И вот что у него выходит: супруга его сошла с ума и в припадке удавилась нечаянно. Не надо бы семье на нечистом месте оставаться — только куда они из Тамы переедут, когда тут у них и домик, и работа, и огород, и Столица близко? Боятся люди в путь трогаться, хоть и понимают сами: шорники всюду нынче нужны, где дороги есть, и чем дороги хуже, тем нужнее. А между тем нечисть в доме не унимается. Спать не дает никому — ни детям, ни старшим. Тоже уморить хочет: каждую ночь будто бы просыпаются тысяча десять червяков-древоточцев и подгрызают балки. И с краев, и посередине. Соседям не слышно, а в доме хруст такой, что страшно: вот-вот крыша рухнет. Днем смотришь — никаких следов. А чуть стемнеет — опять: *кири-кири, кири-кири...*

Пойдем, говорит, к матери моей, она тебе всё лучше растолкует.

Старушка видит мою бритую голову, пояс веревочный и чашку, начинает орать: куда смотрит община, дармоеды, когда не надо — так вечно вы со своими чудесами, а когда надо, вас не допросишься... Я молчу про то, что по государеву закону я вообще не монах, а так, вольный странник. По лицу у нее тоже видно: ночь не спала, а может, и много ночей. И у малышни под глазами черно, а это никуда уже не годится.

Я предложил бы: если так, то работали бы вы по ночам, а днем отсыпались! И еще сказал бы: сыро очень в доме, и оттого, наверное, все соседские древоточцы к вам подались. Просушили бы, стало бы легче. Но монаха зовут не для дурацких советов, а для обряда.

Прочел я им из Сутры, из «Сравнения»: про старый-старый дворец, где и плесень, и гниль завелась, и совы летали, и ястребы, и голуби гнездились, горные и домашние, и крысы, и барсуки, и змеи с ящерицами, и пауки, и червяки, и скорпионы, и многоножки, и еще такие гады, кого мы по Сутре только и знаем, ибо, к счастью, не водятся они в наших краях. И дальше — про то, как дворец этот загорелся и как хозяин звал детей своих: выходите скорее, пожар! А они к паукам и прочей разрухе так привыкли, что уже ничего не боялись, даже огня, и не пошли. Пришлось их обмануть, выманить на игрушки, только что выдуманные. Зато вместо

потешных колесниц на перекрестке стояли настоящие повозки, и поручни у них были вот такие, а подушки вот этикие, а волю могучие, чисто-белые, и сбруя выделана отлично, украшена золотом, серебром, жемчугами... В Сутре всегда можно найти слова, подходящие к особе заказчика.

Под вечер я перебрался под самую крышу. Пока лез, не заметил, чтобы балки были такие уж трухлявые. В том дворце, я думаю, всё намного жутче истлело. Устроился и продолжаю читать.

Стемнело, начинается: *кири-кири, кири-кири*. Не шорох, не стрекот, а настоящий скрежет, как под пилой. И будто бы еще капли падают: *пин-пин-пин...* Мне снизу Ая говорят что-то, только я уже не слышу. Потому что замечаю: напротив меня на балке сидит женщина. Одета, как все уездные молодайки одеваются, только шея повязана красной тряпочкой. Значит — удавленница. И плачет, и руками по дереву скребет. Дух, по своим мертвым меркам, совсем еще юный, но сильный.

Спрашиваю ее:

— Что ты, по детям своим тоскуешь?

Поднимает глаза на меня:

— Своим? Все тут дети — ее, внуки все — ее, когда кому рожать, не рожать, сыновей, дочек, — у нее на века вперед всё рассчитано! А не можешь ей угодить, — значит, дура, уродка, молиться не умеешь...

— Кому это — «ей»? Свекрови?

Не буду повторять, что мне молодайка ответила. Если мягко выразаться, то как-то так: кровопийца она, а не свекровь, змея болотная, лисица, якша несытая!

— Молиться... на нее, на праведницу нашу, все должны молиться, она же всем и мать, и отец, и государыня с государем, а еще она пожилая и слабая, и почему кто-то думает, что ее без угождения можно оставлять, она же умрет, и все будут виноваты... умрет она, да! — без груши квашеной утречком — умрет, и без рыбки тухленькой к обеду...

— Это у нее вкус такой? В самом деле, что ли, лиса? Или, скорее, медведица...

— Не вкус, а приличия: зря, что ли, мы живем почти у самой Столицы? Должны морскую рыбу кушать, не хуже других, а что эту рыбу привозят уже тухлой, и лежит она на рынке по три дня, так это нам ничего, и детки с внуками тоже это жрать должны у нее, а кому с того худо, те пусть молчат, потому что она сказала, ей лучше знать, кому что вкуснее. Болеют мужики — не от ее отравы, как же! — от дурной стряпни, разве дура на ее-то распрекрасной кухне что съедобное сготовит? — а маленькие хворают, потому что разве от дуры что приличное родится? — и ревут не оттого, что на них каждый день орут, а уродились такими, плаксами... и

знала бы еще, чего хочет, а то: «Дай мне — ну, эту самую», спросишь ее: «Что, матушка?» — «Эту самую, ну, вот эту» — и хоть ты лопни, всё одно: эту, эту... а потом жалуется: «Сколько раз ей говорить?! Гребенку подать не может, дура»... Ну, на тебе: живи теперь без дуры, радуйся!

— Так ты — что же, из-за свекрови себя порешила?

Каждый из нас когда-то жил и в мужском теле, и в женском, каждому доводилось бывать и молодой, и старухой. Только ведь я не такой святой подвижник, чтобы помнить все свои прежние рождения. Не знаю, как может быть ради одной вздорной бабы — ни мужа с детьми, ни себя не жалко. Мне когда-то казалось, у меня матушка с бабушкой иной раз страшно ругаются... Выходит, у нас-то было полное домашнее счастье.

Дух все плачет и плачет, но по балке уже не царапает.

О свекровях я книг не знаю. Стал читать ей из другой книги: про мать почтительного Мокурэна. Как она над сыном издевалась, как он от нее сбежал в монахи, а она и на том не унялась, и его, и всех его товарищей изводила, как могла. И даже Будде пробовала пакостить, а Мокурэн терпел. Не потому, что — мать, а потому, что Будда рядом. И когда она умерла, Мокурэн увидел, каково ей среди голодных бесов, куда она попала. А было ей так-то и сяк-то, в общем, тяжело. Если тебя это утешит — в книгах такой жути еще много есть.

Не очень-то слушает меня дух, но замолкает, пока я болтаю. Потом рассказывает дальше про свое семейное житье. И вдруг спрашивает:

— А ты, монах, знаешь заклятие, чтоб какую-нибудь сволочь уложить сразу и наповал?

Доболтался, думаю я. Вот сейчас дух попросит: имей сострадание к трем несчастным шорникам, двоим детишкам и одной покойнице, избавь нас всех от мучений. И что тогда делать?

Честно признался: не знаю.

— Если тебе закажут этот обряд, не соглашайся! Она у меня так легко не сдохнет.

Утром Ая мне сказали: ночь прошла тихо. Бабка и внуки еще спали, когда я уходил. Но духа я не успокоил. И все-таки вряд ли шорники на меня пожаловались, хотя следующей ночью покойница наверняка опять шумела. Не стали бы они открываться перед чужими: у нас, мол, молодая хозяйка — мстительный призрак. А самой ей точно не до меня.

Говорят, из Столицы видно вершину Эй, если смотреть с Восточной храмовой башни в ясный день. А с горы Столицу видно? Должно быть, так: не зря же храмы

Эй стоят на защите Города и Государя. С самой страшной стороны, с северо-востока, откуда нечисть обычно заходит.

Вопрос: надо ли удивляться, что у подножия горы, в Таме, духи и собираются? За три дня трое беспокойных. Правда, с другими лучше вышло, чем с этой шорниковой женой. Еще обиднее, если они донесли. Или кто-то живой, но из-за них.

Вот и вход на гору, при входе родник для очищения.

— Голову умой, — разрешает Годзу.

— И вот, приложи. А то скажут, мы тебя при задержании изувечили...

Это Мамэн увидал порезы у меня на макушке. Вчерашние уже, засохшие, и всё равно: кровь, нечисто. Может, раз так, не надо меня на святую гору, да еще к самому настоятелю?

Мамэн вытаскивает из рукава мятый листок: черный подорожник. Окунает его в воду, шлепает мне на голову.

— Ты какой дрянью бреешься?

Тупой ржавой закорюкой, как все отшельники. Жил бы в казенном храме — имел бы приличное лезвие.

Глотну воды. Хорошо у вас тут, прохладно.

Идти по горе Эй — как теребить чужие четки: славно, хотя и страшновато, как бы с непривычки не оборвать. Сосенка, еще сосенка, дикая груша. Камень, коряга. Мох зеленый, мох медный, папоротники. Обезьяна прыгнула. Мамэн ей кивает, она скалится:

— Хи!

Солнышко через лес, будто полотна натянуты. От верхушки сосны к корням, с края скалы — в можжевеловые заросли. Золотые шелка, будущие свитки нашей Сутры.

Чего я всё тут так разглядываю? Не казнить же еще ведут. Вломают слегка и отправят по месту приписки. А пока будут выяснять, где приписан, пошлют валить вот этот же лес. Храму нужны бревна, идет строительство. Лесоповал — дело знакомое, хоть веселого мало. Дома и вправду может худо выйти, но по дороге — разве сложно сбежать? Да и дома, надо думать, насмерть не убьют. А хоть бы и убили. Подвижнику нечего жалеть в здешнем скорбном мире.

Кроме людской глупости, жадности и злости — правда, нечего.

Утром после ночевки у Ая — стою опять на рынке, читаю. Боюсь, как бы не

сбиться и не заснуть, голошу погромче. На людей не гляжу: не найду ведь, как им ответить, если спросят про шорников. Дохожу до конца главы, очухиваюсь, вижу перед собой чиновника из управы. Да не стражника, а секретаря: шапка должностная, ручки в рукавах...

Вот умеют же служилые люди говорить четко, направленно, в уши одному собеседнику и тайно от посторонних. Я пробовал, у меня так не получается.

— Ты — монах Фукё? Проводил вчера обряд в шорной мастерской?

— Я безмозглый скорпион: сам себе напакостил.

— Очень хорошо. Есть у нас в уезде одно затрудненьце...

И ведет меня в управу, в ту палату, где просителей принимают. Во дворе очередь сидит, человек двадцать. На приеме еще два писаря. Спрашивают, обратил ли я внимание на косматого дядьку, который в очереди: смирный такой, слегка кособокий? Да, видел его. Прекрасно! А побывал ли достойный монах Фукё на обучении за морем? Вот тебе раз... Я что, похож на казенного искателя Закона? Нет, не доводилось пока. Однако странствовал по дальним землям державы нашей? Конечно, много где побывал. Разные наречия знаешь? Кое-какие разбираю. Отлично! Тогда переводы, поскольку мы этого ходока не понимаем. Он уже дважды сюда заходил, и вроде бы связно докладывает, спокойно, только на неизвестном языке. Письмом же не владеет, что ясно дал понять гримасами и знаками... Рад буду оказать содействие! И так далее. Сам я соображаю: затруднение как раз для меня. Дядька-то мертвый. Не древний, но уже опытный, давний дух.

Положим, управа бы мною сама занялась. Едва ли на гору донесение послала бы. Разве что из уважения к настоятелю Энкау. Вообще-то в Таме чиновные власти с храмовыми не очень ладят, затем и позвали пришлого монашка, не с горы.

А дух тот ничего был: зашел, поклонился, прокашлялся.

— Имею доложить. Прозываюсь Таро-Третий, поверстан в Войско из крестьян деревни Кряжники здешнего уезда. Убит в походе на южных дикарей, весной, в четырнадцатый год Крепкого Согласия.

Пока, вроде, всё понятно. Воевал дядька, убит шестнадцать лет назад. Я то время помню: как все плакали, и сам я плакал, хотя меня по малолетству точно бы еще не забрали.

Дух видит, что я его слушаю и что чиновники на меня глядят. Объясняет не по уставу:

— Со мной тогда еще двое ребят шло: разведка, ночью, тоже убиты оба. Нет свидетелей, оттого — лично хлопочу.

И мигает на писарей:

— Они, что ли, тебя припрягли, чтоб ты тут нежить изгонял? Так я тебе, парень, сразу скажу: не выйдет. Я, если придется, до самого Государя дойду!

Краем глаза я вижу, как господина секретаря передернуло при словах насчет Государя. Говорю духу:

— Я тут затем, что казенные люди речь твою плохо понимают. Суть улавливают, а подробностей — нет, и я у них вместо толмача. Так в чем твое прошение?

— Как же, не понимают они... Прощение — чтобы из живых выписаться.

— Ты по грамотам до сих пор числишься живым?

— По извещению — без вести пропавший. Только тогда еще брату моему староста сказал: ждите, вдруг еще вернется. Бывало, говорит, возвращались и из Войска. Оно ж вам и лучше: надел пока остается на двоих мужиков и двоих подростков, пользуйтесь и будьте благодарны. Брат сдуру согласился, еще старосте за науку сколько гостинцев перетаскал... А теперь что получается? Брат помер. Наделы перемеряли, считали только по тем головам, какие налицо. Да еще перерасчетом пригрозили за те четыре года, когда меня будто бы ждали. Потому как я не вернулся и никто меня не видал.

— А ты объявлялся у себя в деревне?

— Да, только без толку. Сам-то я уже не работник. Сказать могу, а руками что сделать...

И вот это, думаю я, очень хорошо с твоей стороны. По крайней мере, за оружие не возьмешься. И пятерней не придушишь, когда тебя до гнева доведут. А умеешь ли ты как мертвый дух насылать проклятия — этого я пока не знаю. Правда, чем не проклятие: ходишь сюда, в управу, день за днем, страх внушаешь?

— Ну, пусть: не видали. Надел остался на моих племянников. И что дальше делается? А дальше берут старшего племянника, верстают на дорожные работы. Как так? Двор, что ли, на одного мужика останется, да и тот едва совершеннолетний? А у вас, говорят, еще дядя есть. Так вот именно же, дядя, вояка был, погиб! Хватит, со двора никаких казенных работ на ближайшие годы вовсе не причитается! Нет, говорят, выбыл из Войска ваш дядя! А что погиб, доказать еще надо. И начинают стращать. Что я тогда самовольно службу оставил, за дикими рубежами обосновался, и у меня там, небось, земля вольная, хозяйство...

— Да, конечно: собственная заводь с белыми лотосами. Пожалована от будды Амиды в бессрочный наем.

— Вы-то, монахи, люди ушлые по части той, как от податей бегать. А всё равно: по-твоему, не паскудство — вот этак с людьми обходиться?

— Полностью с тобой согласен. Надо что-то предпринять.

Горные подвижники, как известно, даром ничего никогда не делают. Я соображаю, что полезное для меня мог бы сейчас учинить Таро-Третий.

— Не откажи и ты мне, Таро, вот в какой просьбе: испытай меня как чудотворца!

— Хе... Прямо тут, что ли?

— А почему бы и нет?

— В казенном месте?

— Ну, да. Для убедительности.

Испытания — это вот что. Я буду подвижник святой Сутры, а ты, вояка, будешь мой демон Мара. Я читаю, ты меня отвлекаешь. Тут руки не нужны, орудуешь одним своим Исконным Неведеньем. Разве мало на свете вещей, каких ты исконно не знаешь? Много.

— *О, Почитаемый в веках! Таких подвижников очень трудно встретить...*

Эйтц! Под ребра. Это Таро не понимает, за что его папаша колотил в детстве. Не понимает до сих пор.

— *Кто желает проповедовать эту Сутру в грядущий злой век, тот спокойно и уверенно...*

Зачем в Государевом Войске начальство бедняге Таро в зубы выдавало — вот этак! — он тоже не ведает. Не ведает!

— *...Пребывает на ступени Терпения, мягок, ровен...*

И откуда весна такая лютая в южных дикарских краях, что Таро, раненный, не дополз до своих, заснул в снегу и помер? Непонятно!

— *...не следует другим учениям... Ох...*

И что за законы у нас, что по ним над простым мужиком можно всяко издеваться — Таро не ведает и ведать не хочет!

— *О-ох, да ведь я... то есть — он не близок к царю, царевичам, высшим сановникам, главным чиновникам... Ох! ...к опасным и жестоким играм, кулачным боям, борьбе...*

Не то чтобы я долго продержался против этого духа. Но чиновникам, кажется, хватило.

Прихожу в себя. Дядьки Таро нету, один столик письменный — разломан пополам, тушь по полу рассыпана. Писаря мне рассказывают, какой у меня был страшный припадок. Даже очередь со двора частично разбежалась. А куда тот косматый проситель делся, они не видели.

Признаю свое поражение. Объясняю, что теперь для успокоения столь

мощного духа придется созвать достойнейших монахов и начать непрестанные чтения Сутры. Секретарь осторожно спрашивает: а сколько это времени займет? — А пока не полегчает. И каждый день всем монахам — подобающие дары. И в Столицу, разумеется, надо будет доложить. А иначе никак нельзя обойтись? — Очень трудно. Но возможно. Надо во-первых, вычеркнуть из списков Таро-Третьего из деревни Кряжики вашего уезда, а во-вторых, переслать справку о том по месту жительства его племянника. И второго племянника вернуть со строительства казенной дороги, пока дух туда не перенесся и не сорвал все работы к таким-то демонам поганым.

Вняли моим словам, при мне же составили все грамоты. Ворчали, правда: неужто нельзя было обойтись без шума, даже если у твоего покойного дружка такие неприятности?

Ладно: скорее всего, донес на меня кто-то из просителей, с перепугу. Вряд ли сам вояка. Впрочем, раз уж он дух-ходатай, то мог бы сообщить на гору Эй о жульничестве с обрядами в управе.

Дорога забирает круче в гору. По сторонам всё чаще — камни с надписями, воротца, всякие дары благочестивых мирян. Мамэн и Годзу здороваются со встречными. Пока монахов не видно, всё больше храмовые работники.

— А расскажите мне, добрые друзья, о вашем настоятеле!

— Старший над общиной, Энкай — суров к таким бродягам, как ты. Меня тут в ту пору еще не было, но говорят — когда он только вступил в должность, к нему три сотни самочинных монахов явились. Чтобы он им посвящение дал и в службу взял, а они будут его сторону держать против его завистников. И пресекать клевету на Закон, конечно. Настоятель их выслушал. Не хором, а по двое-трое. Нескольких оставил тут на обучении. Остальным сказал: ступайте по домам, ибо никакие вы не монахи. И что ты думаешь? Иные в самом деле домой вернулись. К месту мирской приписки. Повинились и за работу принялись.

— Настоятель же набрал в горную охрану таких ребят, как вы? То бишь своих земляков, если я верно соображаю?

— Тут всё хитрее. Частью своих, а частью — завистничьих.

А может быть, всё еще гораздо хуже.

По Уставу побираться надо только до полудня. Но я давеча себе положил отдышаться немного — после того, как мы с воякой Таро показали, на что он способен во гневе. Под вечер выхожу на базар.

— А тебя, монах, снова ищут!

Посыльный мальчик от господина Идзуми, самой знатной особы во всей Таме. Господин желает слышать отшельника у себя в усадьбе возле пруда.

Волей-неволей, а Устав пришлось соблюсти.

Господин, как я слышал, когда-то служил в Столице. Или не служил, но мог бы, несколько лет ждал непременно назначения. Утомился суетою, удалился в здешнюю глушь. Хотел принять монашество на Эй, но не решился. Или знатному человеку в храме ждать места при достойном наставнике еще дольше, чем мирской службы при ком-нибудь из больших вельмож?

Со слов посыльного — всё было иначе. Господин любил, и его любимая скончалась. Сожжена была здесь, у подножия Эй. А он тоскует близ пепелища ее костра.

Не то чтобы в Таме мало сжигали столичных покойниц. На гору Эй женщинам нельзя, даже мертвым, — так хоть по соседству с нею сгореть, и чем кичливее семья, тем ближе. Наверняка среди тех женщин были красавицы, подходящие для воздыханий господину Идзуми. И такие, с кем он состоял в переписке, или бывал у них в гостях. А может, он спохватился, только когда увидел похоронный поезд у ворот дома, куда еще только намеревался наведаться. Или вовсе выдумал себе даму, чтобы скорбеть.

Стою в траве возле усадебного крыльца, а хозяин говорит из дома. Похоже, видеть и вправду никого не хочет.

— ...Решил последовать за ушедшей: сесть под горою близ кострища и умереть. Отказался от пищи и питья. Только от песен отказаться труднее. Особенно — когда хочешь слагать их, а не способен. Но тут пришла в голову одна строчка... Кажется, не худшая по моим любительским меркам. Стал подбирать вторую. А ведь известно: когда сочиняешь, всегда есть хочется. Ягодку за ягодкой, я съел все сливы. А потом и кашу, и пряники. Глупо...

— Но погодите, господин. Откуда там еда-то, на пепелище?

— По моему суждению — от нее.

— От госпожи?

— Да, из поминальных подношений. Угощает меня, а ответить не хочет...

Песни свои он, конечно, записывает. И сразу сжигает. Иногда бросает и в пруд. Но неужели его слова так и сгинут впустую? Даже не известно, как бы они понравились той госпоже, кабы дошли до нее.

— Господин желает послушать о тщете всего преходящего?

— Не сейчас. Сегодня ты, святой подвижник, передашь ей мое послание.

Только этого мне не хватало. Даже будь я законным храмовым монахом...

Даже будь госпожа жива... И попробуй отказаться.

Однако вот Фудо, Недвижный Пламень, эти письма передает. И водный государь-змея — тоже не считает зазорным. Я, что ли, презираю в людях любовную верность? Не презираю.

Пруд заросший, темный, в воде черные водоросли. Под ветром лунная рябь, под рябью дрожит отражение. Не мое.

Не помню я и тех своих жизней, когда был учтивым служилым господином. Наверное, очень давно, при дворе какого-нибудь заморского царя. Как разговаривать со знатными красавицами, не знаю.

Но есть же тот голос, каким мы читаем из Сутры: *У государя змеев есть дочь... Для ее дарований и красноречия нет преград. Она думает обо всех существах, как о детях-младенцах, сострадательна, скромна, человеколюбива, нежна, изящна и способна достичь прозрения.* Так и попробую.

— Не снизойдет ли госпожа выслушать привет от господина Идзуми?

Молчит. Не прячет лица за волосами, не отворачивается. Будто духу ее не три-четыре года, как на самом деле, а все пятьсот.

Пробую прочесть песню вслух. Как знать: вдруг госпоже привычнее слушать, чем разбирать по написанному? А сейчас рядом нет ученой няньки для оглашения посланий.

Чем я не нянька?

*Ранние росы,
Недолго блистали вы:
Миг — и иссохли.
Слез же источник моих
Не иссякает вовек.*

Плеснуло что-то на берег, словно бы ракушку вынесло. Наклоняюсь, чтобы живность закинуть обратно в воду, и только тут слышу:

— Ответ будет. Вот такой:

*Летней росинке,
Что легкою дымкою
К небу поднялась,
Вечного плач родника
Горькой обидой звучит.*

Держится дух со всей учтивостью перед заклинателем: или зримый образ, или речь. Чтобы уши и глаза не мешали друг другу, как бывает обычно у людей. И никаких вам околичностей. У духов прямота — примета вежества:

— Мало утешения мертвому, когда живой плачет по себе.

Ну, пусть так. И вдовцы, и сироты — все жалеют себя, а не супругов и не родителей. Если бы для человека другие люди больше значили, чем он сам, — тогда Почитаемому в веках незачем было бы и учить нас Пути сострадания. А как не плакать по себе, если не видишь, каково ему, другому? Сейчас буду просить госпожу назначить свидание несчастному поэту. Монах-сводник.

— Господин тоскует, как умеет. А госпожа какое утешение приняла бы? Чтобы он, чем бумагу напрасно тратит, Сутру переписал бы в Вашу честь? Уложил бы все десять свитков в медный ларчик с позолотой и утопил бы?

— Он не благочестивцем хочет быть, а певцом. Только ничего у него не выйдет, пока он думает не обо мне, а о песнях да о своих страданиях. А меня самой будто бы и нет. Вот и получают не те стихи: не про смерть, а про разлуку... Не про меня, а про него.

— Да что с того госпоже? Неприятно — не отвечайте.

— Невозможно... Между людьми даже такая связь неразрывна: когда один воображает, будто горюет о другом. Нет, пока он не выучится...

— И в будущих рождениях, в разных землях, на всяческих языках он будет осваивать стихосложение, а госпожа и там будет слушать его, слушать и морщиться...

— Я лучше подожду здесь. В новой жизни мне хотелось бы какой-нибудь другой связи.

Возвращаюсь к усадьбе. Господин в своих покоях сидит тихо, но точно прислушивается. Передаю: и песню, и совет. Госпожу держит среди духов ровно то же самое, что Вас удерживает среди живых. Пока не станете великим певцом, она Вас не отпустит и сама не обретет покоя. Так что пишите — и Вам виднее, как добиться, чтоб было больше похоже на плач, а не на похвальбу влюбленного.

— Роса — разлука? Да-да... Смерть — дым...

Тут я и выясняю: одиночество господина обустроивают кое-какие слуги, и не все они ночью спят. Насыпали мне полную чашку даров, указали, где лечь. Выжидаю, пока они угомонятся, — и сам не знаю, зачем, иду опять на бережок. А там луна за облаками, и господин сидит над водой:

*Дымкой тумана
Сокрыто сияние
Горной вершины...
Ветер! Утихни, уймись —
Этот туман не спугни!*

В стихотворстве я не разбираюсь. Но думаю: дальше они, пожалуй, обойдутся без моего посредничества. Ухожу потихоньку.

А наверное, зря. Что, если людям господина Идзуми этой ночью пришлось вытаскивать своего барина из пруда? Или, по их суждению, барин в уме повредился, потолковав с бродячим монашком? Донесли, куда следует, на гору Эй, и вот...

Впереди видны уже главные храмовые ворота. Пусть я и не сопротивлялся, полубык с полуконем меня хватают под руки. Доставляют самочинца начальству — на полной скорости, с ветерком.

Затаскивают в сарайчик, дверь задвигают засовом. Сами идут доложить старшине охраны, а тот сообщит Настоятелю. Сегодня, а может, уже и завтра.

Стемнело.

...Если люди, закованные в кандалы и цепи — виновны они или невиновны — назовут имя Кандзэон, то оковы их тотчас же разомкнутся...

Кто-то из-за стенки шепчет:

— Фукё! Когда тебя куда-то сажают — ты никогда не проверяешь, крепко ли заперто?

— Зачем же мне убегать? Я, может, хочу предстать перед настоятелем.

— Тогда вылезай: там под стенкой подрыто. Ступай за мной.

Живой провожатый, но скользит, будто призрак. Сутулая спина, послушничья одежда, голова прикрыта шляпою из коры. Ведет через двор храма, но не к большим воротам, а в то крыло, где жилые кельи. Жмутся они прямо к внешней стене. И оттуда, оказывается, есть дверка наружу.

Под стеной у храма склад. Бревна, доски, drankи. Шляпа петляет между поленицами. Дальше — лес: молодой, подросший уже после порубок. Дорожка к небольшой молельне.

Там, надо думать, и пребывает нынче ночью настоятель Энкай.

Поднимаюсь. Кланяюсь, как положено: об пол коленями, руками и лбом. И

встать, и еще раз так, и еще раз. И можно разогнуться.

В молельне пусто: ни изваяний, ни курильниц, только глиняный светильник. Настоятель сидит на помосте. Дергает четки так, чтобы бусинки прокатились по доскам. Это приказ — «подойди поближе»? Хорошо, подойду. Сяду у самого помоста.

Голос — как колокол. Сразу узнаёшь великого чтеца и спорщика:

— Это и есть заклинатель духов?

Полное облачение в семь слоев. Четки — из хрусталя. И рука такая же: словно ледяная, прозрачная.

— Фукё, Неспособный Презирать. Славное имечко.

— Могу ли я спросить Энкая, старшего над общиной...

— Как меня звали в пору ученичества, пока я тоже носил имя по «Цветку Закона»? Дзюти, Выскочивший Из-под Земли.

— Значит, это о Вас я слышал...

— Откуда ты родом?

Называю свои родные места. Земля Кию, уезд, поселок... Из семьи тамошних рыбаков.

— Сбежал — от голода? От скуки, от неволи?

Всё так. У любого монаха — так. Попробую ответить за себя.

— У меня тяга к духам, а не только чутье на них. Еще с подростковых лет. Я себе чуть ли не на каждом шагу находил мертвеца, с кем побеседовать. А в море, в лодке, такие чудеса совсем не к месту.

— Стало быть, рвение к чудотворству. В родне были жрецы, божьи люди, заклинатели?

— У кого же их не было... Есть, в старшей ветви рода. Меня натаскивать не взялись, мне не положено.

— И ты подался к бродячим монахам. По-твоему, «Цветок Закона» тебе помогает управляться с мертвыми?

— Помогает. Не только в этом. Рвение, как Вы говорите, — не от меня зависит. А всё, что с Сутрой, — от меня.

— Кто тебя учил чтению? Судя по твоему выговору — Хобэн с Медвежьих полей?

Настоятель сам изволил слушать, как я читаю на рынке? Да ему, великому чудотворцу, впору слышать и за несколько верст.

— Наставника Хобэна я только дважды встречал. Но с его учениками много дело имел, правда.

— Грамотен? Или знаешь Сутру только с голоса?

— По свиткам тоже читать могу. Только у меня свитков нету.

— Другие книги изучал?

— Больше по пересказам. Дословно помню «Урабон» и «Наставника-Врачевателя». Только испытаний монашеских я всё равно не выдержу: толковать-то книги я не умею.

— Значит, ты решил, будто я призвал тебя затем, чтобы дать тебе законное посвящение. А ты хочешь этого?

— Я в храме жить не сумею. Или это будет очень хлопотно для храма.

— Нет, я тебя расспрашиваю не за этим. Думаю, какую плату предложить, достойную вольного отшельника. Свитков нет, говоришь?

И чуть передвигает рукав облачения. Под рукавом на помосте десять свитков в полотняных чехлах: весь «Цветок Закона».

— А за что плату-то?

Настоятель медлит.

— Ты, наверное, заметил: за тобою наблюдают уже несколько дней.

Ничего я не замечал, но склоняю голову. Большая честь...

— Ты неплохо знаешь Сутру и действительно способен к чудесам.

Пригибаюсь еще ниже.

— Ты понимаешь, что со мною, Фукё?

— Понимаю: Вы мертвый.

Не вижу, но затылком чую — старший над общинниками изволит усмехнуться. Беззвучно, коротко.

— Вы — дух в собственном бывшем теле. Сами, волей своею, сохраняете плоть от распада. Очень хорошо у Вас получается, этак можно лет сто и больше продержаться. Мои неученые советы Вам не надобны.

— Прежде выслушай.

Выслушать — всю его жизнь, с тех времен, когда в раннем детстве он занедужил. Единственный сын в бедном, но почтенном семействе. И отец его не стал слушать женских рыданий, а ушел из дому, ко ближайшим горам, молиться. Вымолил: мальчик тогда выжил. А батюшка в семью насовсем так и не вернулся. Видно, принес слишком много обетов, и домой мог заходить лишь ненадолго. Когда паренек подрос, сам отправился в горы. Стал учиться, тогда и получил прозвище Дзюти. Явил свои первые чудеса, свел полезные знакомства. В том числе с одним обормотом из Столицы, страшно знатным и напрочь сумасшедшим. Дзюти взялся опекать его. Юношу потом разыскали родители, убедили принять правильное посвящение. Дзюти последовал за другом на гору Эй, тут и получил имя Энкай. Проучились они двенадцать лет, потом их записали в посольство на материк. В

плавании корабль расшибся, но и тогда Энкай уцелел. Оказалось, что за морем теперь бритых бьют: пришлось отращивать волосы и рядиться в мирское платье. Он даже сумел вернуться, хотя друг его не поехал — вздумал себе, что преуспеет при тамошней столице.

Когда Энкай возвратился, на Эй шли такие распри, что вспоминать не хочется. Но он нашел способ заниматься делом. Обрядами, книгами. Завел себе и учеников, и мирских почитателей в Столице. Стал в итоге настоятелем. Обустраивал гору, мирил тех монахов, кого возможно было помирить. Вершил обряды, давал наставления, писал толкования к книгам. И вот, в конце прошлой осени настоятель тяжело занедужил.

— Мне следовало сложить полномочия и предаться молитве. А у нас на горе назначены были Зимние чтения «Цветка Закона». И на четвертый их день я был заявлен как чтец. Должен был отказаться — но выступил. Читал «Возложение ноши». Уговаривал себя: эта ноша весомее любой земной немощи, так что ради нее можно и потерпеть. *Если в грядущие века кто-то из добрых мужей, добрых жен поверит в знание и мудрость Будды, то разьясняйте и проповедуйте им эту Сутру...*

— *...чтобы и они смогли услышать и узнать ее и чтобы такие люди обрели мудрость Будды. Если же кто из живых не доверяет знанию и мудрости Будды...*

— Вот. На этом месте я умер.

— Умерли и сами того не заметили? Большое счастье, по-моему.

— Если бы... Нет, знаешь ли, ощущение было преотчетливое. Но нельзя же было остановиться на таких горьких словах. И я продолжил. *Возглашайте другие глубокие учения Будды, показывайте их, учите этих живых, на пользу им и на радость...*

— *...и если сможете сделать так, то вам воздастся благодарностью всех будд!*

— Благодарностью... Позор! Достойный подвижник дотерпел бы до конца заседаний, вышел из зала, и уже там спокойно скончался. А я умер на виду у всех. И сидел. Еще и на вопросы отвечал.

— Но ведь был же у нас в Медвежьих полях тот знаменитый череп: вся плоть истлела, одни кости остались, а он всё читал да читал Сутру живым человеческим языком...

— Если бы я довел Чтения до конца и унялся! Или так навсегда и остался в зале и возглашал бы Сутру, не замолкая. А я наутро принимал ходоков из восточных земель. Улаживал ссору одного из моих учеников с дядей его ученика. Отвратительную, надо признаться, ссору: родовитый отрок, вельможный дядюшка, начинающий книжник, чью смиренность я сильно переоценивал... Потом торговался с поставщиками бумаги. Обсуждал чертежи со строителями.

Заслушивал отчет нашего распорядителя-хозяйственника. Через месяц поехал на новогодние прения в Южную столицу. По ходу прений мне пришло на ум, как можно было бы прояснить некоторые спорные места в «Трактате о пробуждении веры». Я тогда же набросал толкование, а потом и записал. Пока работал над ним, оказалось, что и наши «Сокровенные значения» требуют нового подробного разбора...

— И это Вы тоже написали?

— Произнес перед учениками, они приняли на кисть. И так — все эти месяцы. Отвратительно.

— Почему? Вы же не буяните, а дело делаете.

— Потому, Фукё, что цель дела нашего — главная, последняя цель — обретение свободы. Для всех и для себя. А я привязался к этому делу. Присосался, не могу оторваться. И такая привязь много хуже любой другой страсти: стяжательства, тщеславия, ненависти...

Еще, да простит меня настоятель, бывает страсть терзать самого себя. Гонять, как упряжного вола, да еще и ругаться. Не она ли, вместе с заботою о школе, мешает Вам упокоиться?

— Помоги мне.

— Если я верно понял... Вас изгнать надо, что ли?

— Усмирить. Обратит к тому, что должно на самом деле меня заботить: к будущему рождению.

Да, Чистая земля Амиды, пожалуй, не для Вас: слишком спокойно. Новое рождение в здешнем мире? При Вашей праведности — наверное, в человеческом теле, в знатном роду, и быть Вам преданным государевым сподвижником. Или богом?

— И станете Вы хранителем горы Эй, еще одним. Поставят Вам святилище, будете защищать лес, дома и жителей, всё останется, как есть. Временами Ваш преемник будет Вами одержим.

— Не хочу так. Нет... В том-то и дело, что хочу я оставаться здесь. Очень хочу. Но так продолжаться не может.

— А что, Вы до сих пор никого из учеников не выбрали, кому можно доверить гору?

— Выбрал, конечно. Завещание составлено, оглашено перед старшинами горы. И даже согласовано в Столице.

— Кстати о старшинах. Как мыслит настоятель: легко им, опытным монахам, каждый день ходить возле беспокойного мертвеца? Ведь чуют же.

— Я пытался об этом думать. И о них, и о молодых, о послушниках: им такие

чудеса тоже не на пользу. Будущий настоятель ставит защитные заклятия, какие возможно. И всё равно... Нет, боюсь, укорам сострадания меня уже не пронять.

— А в остальном этот будущий глава школы — что же, совсем пустое место? Завещание — есть, а дело в его руки доверить всё-таки страшно? Он вообще-то кто, ежели не тайна?

— Энсю. Сын сестры того монаха, кого в отшельничьих горах прежде звали Камэем-Побирушкой.

— То есть главного завистника горы Эй?

— Человека, кому мы сами когда-то горько завидовали. Когда наши прошения при дворе лежали по полгода, а Государь ежеутренне спрашивал: нет ли новых писем от Камэя? И вот, младший родич Побирушки пришел в нашу школу. Очень долго на Энсю здесь глядели, как на лазутчика. И сам я ему не верил. Пока не увидел, как он проповедует обезьянам в лесу. А они смеются, а сам он и плачет, и хохочет. Гора приняла его, он — друг и братец наших богов. Лучше него на Эй никто не управится.

Настоятель Энкай стискивает чётки в горсти:

— Я трижды просил Энсю о том же: изгони, упокой. Он отказывается. «Каждый лишний час, проведенный подле Учителя...» — и прочая подобная чушь.

И старшины отказались бы, и любой монах горы Эй. Поэтому настоятелю нужен чужак. Такой, как я.

Ну, меня-то три раза просить не надо. Только я всё еще не пойму, чего бы Вы хотели. То бишь чего бы мне для Вас пожелать и о чем взмолиться. Нового рождения — где?

— А что, если — в небесах, рядом с подвижником Мироку? И когда наш сегодняшний мир рухнет и настанет новый, Мироку сойдет на землю, чтобы стать новым буддой. И Вы пойдете вместе с ним. Тогда жить будет намного труднее и страшнее, чем сейчас. Тут-то вся Ваша неотвязность и пригодится, лишним не будете.

Стали мы толковать о конце времен и о подвижнике Мироку. Кто-то должен у будущего будды отвечать за нашу Сутру и за горную общину. И к тому же, Мироку уже сейчас подбирает себе сподвижников. И из богов, и из людей, и из бесов с демонами, и из скотов, и из грешников подземной темницы. Сколько-то там тысячелетий можно будет провести в отличном обществе: среди самых упёртых, какие только есть.

А потом настоятель подал знак, что устал. Позвал того служку, который в деревянной шляпе, чтобы меня проводил.

Да я и сам свалился по дороге. Три ночи без сна подряд — для меня пока что

много.

Просыпаюсь в лесу, носом в папоротниках. Вкусно они пахнут, хотя уже и большие, грубые: порядочный отшельник таких не ест. Подымаю голову, вижу прямо перед собой «Сутры Цветка Закона свиток второй». И остальные девять рядышком лежат.

Как это я за всю прошлую ночь не понял главного? Ведь получается, никто доносов не стряпал! Настоятель-то сам вытребовал меня! Ведь молодцы вы, живые и духи уезда Тама! *Ибо все вы пройдете Путь сострадания и станете буддами*, и еще бы вам ими не стать!

Теперь задача: выбраться с горы и не попасться как вору. Если эта часть леса еще считается горою, а не предгорьем.

Оказывается, местные по склонам носятся без дороги — и вверх, и вниз. Может, я и прав был, что не очень прятался.

Бритый дядька в облачении, накинутом кое-как, на меня чуть не налетает лоб в лоб. Горная глушь, называется: насилу разойдешься.

— Это... Я Мамэна ищу. Или Годзу. Послушников тутошних.

— Кого?! Не ко времени сейчас. Настоятель скончался!

Вот так и Почитаемый в веках: *Пользуясь силой уловок, я ради всех живых говорю, что умру. И нет никого, кто мог бы сказать, что я совершил ошибку, обманув их.*

А мне теперь по свиткам всю Сутру выверять, где я что неточно помню...